

## РАССКАЗЫ

### ОСТРОВИТЯНКА

Васильевский остров. Как можно не любить эту плывущую из Финского залива в Ладожское озеро рыбину, покрытую чешуей ржавых крыш? В детстве у меня была книжка «Конек-горбунок» с Рыбой-китом на обложке. Рыба-кит была по воде огромным хвостом, а на изогнутой спине теснились дома. Я представляла Остров в виде такой же рыбины, готовой в любой момент сбросить нас в соленую пучину залива.

Наше окно тарачилось в угрюмую желтую стену, скупо подсвеченную холодным петербургским солнцем; на потолке среди рыжих следов весенних протечек выступал перечеркнутый трещиной венчик лепнины. Между разохшимися рамами по осени засовывали бумажную трубку, набитую ватой. Трубка не пускала в комнату сквозняк, норовивший уложить меня в постель на неделю-две. Однажды вместе с трубкой папа пристроил между рамами рябиновые гроздья. В пасмурные дни они, казалось, излучали теплый свет. Глупые голуби долбили клювами стекло, пытаюсь достать ягоды. Маме это не нравилось: птица, стучащая в окно, по ее мнению, предвещала беду. Папа только посмеивался.

Дурных знаков становилось все больше. По ночам родители, думая, что я сплю, переругивались свистящим шепотом. От папы часто пахло смесью яблока с чесноком — емкое слово «перегар» я узнала гораздо позже. Иногда он страшно кричал во сне, но я могла различить только слово «коробочка». В папиных кошмарах «коробочки» с ребятами горели на тесных улицах далекого Грозного — и об этом я тоже узнала через много лет.

Мамино лицо по утрам бывало рыхлым и розовым, она шмыгала носом и вертелась перед зеркалом дольше обычного.

Мне исполнилось шесть, когда мы с мамой уехали — недалеко, всего-то минут сорок на метро, — но все изменилось, и жизнь как будто запустилась заново.

Иногда мне казалось, что Остров, как и сказочная Рыба-кит, был сказкой. Я открывала глаза и вместо сероватой лепнины видела стыки бетонных плит. За окном грохотали зеленые электрички и цепочки цистерн, похожих на пальчиковые батарейки. Тесная и узкая лестница тащила в угрюмый двор, окруженный одинаковыми угловатыми домами.

Папа исчез из моей жизни, как будто его никогда не было, зато появилась бабушка — строгая, аккуратная, с серебряными часиками на сухом запястье. Глядя на нее,

---

Анна Алексеевна Бабина родилась в 1990 году в Ленинграде. Окончила юридический факультет СПбГУ, работает юристом. Пишет стихи и прозу. Печаталась в журнале «Литература», альманахах «Птеродактиль» и «Земляки». Лауреат конкурсов «Хрустальный родник», «Северная звезда», «Всемирный Пушкин». Дебютная повесть «Жена Дракона. Не фэнтези» вышла в финал премии «Русские рифмы/Русское слово». Лонг-листер премии «Лицей-2020».

я никак не могла поверить, что она — мама моей мамы. Не обладая маминым громким голосом и размашистыми жестами, она удивительным образом заставляла людей слушать и слушаться.

Мама постоянно опаздывала, суежилась, путалась в потоках цифр, которые изливалась на нас Рыночная экономика — странное существо, о котором только и разговоров было в то время. Несколько лет она работала в каком-то НИИ, где вместо денег давали стиральный порошок и технический спирт, потом перебивалась случайными заработками. Бабушка сориентировалась быстрее: шила на дому, караулила чьи-то дачи, сводила концы с концами и нужных людей между собой — и в итоге постоянно оказывалась в выигрыше. Во всем этом мельтешении она умудрялась находить время для меня: по выходным в любую погоду мы выбирались «в город» — так бабушка называла центр. На Остров забредали изредка и ненадолго, теперь уже не домой, а в гости.

— Смотри, господин Василий и госпожа Василиса тебя встречают, — говорила бабушка, указывая на Ростральные колонны.

Над фронтоном Биржи Посейдон приветливо вскидывал трезубец, напоминая, что надо тренироваться читать бегло и слушаться маму.

Я любила учиться, но школу полюбить так и не смогла. Просыпаться по утрам было для меня сущей пыткой, особенно зимой. Вываливаясь из теплой постели, я едва передвигала ноги, и бабушке приходилось тащить меня за руку. На остановке толпились люди — сами по себе они были самыми обыкновенными, не злыми и не добрыми, но по утрам, спаянные в единую бормочущую под нос проклятия массу, превращались в диких зверей.

Подходил желтый автобус, похожий на жука, и бабушка ловко пропихивала меня внутрь, как чемодан. Целых две остановки мы ехали в тесноте, дышащей перегаром и ненавистью. Возле метро многие, сопя и чертыхаясь, соскакивали в подтаявший снег, а мы тряслись дальше, до школы. У этих автобусов (сейчас их и не сыщешь, наверное, разве что в какой-нибудь глубинке) был особый звук, не похожий на привычное тарахтение движка. Они звенели — тоненько и пронзительно, как будто в бензиновом подполье кто-то мерно постукивал чайной ложкой о край стакана. Зимой самым лучшим местом в таком автобусе становилось сиденье над двигателем, справа за кабиной. Можно было воображать себя Емелей, лихо мчащимся на теплой русской печке к исполнению извечной русской мечты о блаженном ничегонеделании и безбедном существовании.

В школе тоже пришлось несладко: мы занимались на первом этаже в просторном кабинете с огромными окнами, который зимой превращался в морозильник. В коридорах талая вода застывала, как на улице. Классы обогревались трамвайными печками. Однажды в лютый мороз нас пришло всего пятеро, учительница посоветовала не раздеваться, и мы, укутанные, корпели над прописями, как наши блокадные предки.

Но дело было даже не в этом проклятуем холоде. В этой школе я пришлась не ко двору. Украдкой дыша на замерзшие пальцы, я вспоминала огромную гимназию на Острове. Однажды папа взял меня с собой на выборы и, поднимаясь по широкой лестнице, пообещал:

— И тебя сюда запишем. Я здесь учился.

Я смотрела во все глаза на паркет, блестящий, как жженный сахар, совсем не такой, как у нас дома; на черный лакированный рояль в холле, и где-то внутри меня дрожала радостная гордость. Я буду здесь учиться, непременно буду... Но папа предал нас, и вместо школы-дворца я попала в школу-зверинец.

В детский сад я не ходила, поэтому вся казенщина пришлась мне в новинку: и холодная каша, которую одноклассники бойко глотали на большой перемене, и чай, пахну-

щий прабабушкиным сенным матрасом, и учительница, ни с того ни с сего принимавшаяся кричать, и одноклассники — о, с ними было тяжелее всего!

Класс выбирает жертву: сделать это несложно, достаточно как следует приглядеться. У потенциального изгоя должна быть характерная черта: свиный наклон головы, выпирающие лопатки, оттопыренные уши, робкая улыбка, тихий голос... Я носила очки — единственная во всем классе; вместо сока или молока в коробочке мама засовывала в мой ранец, скорее практичный, чем красивый, бутылку с горячим чаем, оборачивая газетой, чтоб не остыла; для занятий физкультурой мне купили старушечьи синие кеды. Но сигналом «ату ее» послужили, конечно, слова учительницы. Она невзлюбила меня с первого урока. Сейчас кажется забавным, насколько скрупулезно солидная пожилая женщина следила за движениями и словами маленькой девочки, с нетерпением ожидая промаха, но тогда грозные окрики и язвительные замечания приводили меня в отчаяние.

День, когда я впервые стала посмешищем для класса, запомнился на всю оставшуюся жизнь. Одна девчонка поспорила со мной, что краска называется медовой, потому что пахнет медом. Я лишь недавно узнала, что в состав акварели действительно входит мед. Перед началом урока я достала коробку с красками и поднесла к носу, чтобы понюхать. За этим занятием учительница застала меня и, нарочно дождавшись, пока класс притихнет, проскрипела:

— Панова! Прекрати лизать краски! Тебе что, есть дома не дают?

Класс грохнул от смеха. И понеслось...

На перемене я прыгала с девчонками через резиночку, и та же учительница мимоходом заметила:

— Панова, прыгаешь, как слониха. Не провались в подвал, — И меня перестали брать в игру.

В пятом классе жизнь немного изменилась: я избавилась от ненавистной учительницы, но одноклассники по-прежнему меня не принимали. Я плохо бегала и прыгала, еще хуже лазала по канату, и на эстафетах никто не хотел брать меня в команду. Однажды на уроке литературы бутылка с чаем в рюкзаке открылась, и желтая лужа под моим стулом доставила зубоскалам огромное удовольствие. В другой раз я запуталась в ремне наплечной сумки и рухнула посреди класса — от дружного хохота задрожали стекла.

Мама и бабушка считали, что школа учит борьбе за выживание в будущей взрослой жизни. Наверное, жвачка в волосах и баскетбольный мяч, пущенный в лицо чьей-то меткой рукой, — не худшие из зол, но в те минуты горечь переполняла меня и гнала по длинным коридорам в женский туалет, где испарялась со щек, оставляя едкие белые следы.

К старшей школе ненависть поутихла, и презрение приобрело более цивилизованные формы. Никто не бросал пластилин в кружку с чаем, не ставил подножек, не швырял в спину тряпкой, пропитанной меловой пылью. Со мной разговаривали сухо и деловито: списать, посмотреть, поделиться учебником... За партой я сидела в одиночестве, обедала и шла домой одна.

После осенних каникул в десятом классе ряды моих молчаливых противников должны были пополниться еще одним человеком. У нас появился Новенький.

Перед началом урока в класс втиснулась завуч — обтянутая лиловым трикотажем женщина гренадерского роста с громовым голосом. Ее мучила зубная боль, поэтому, шепеляво отрекомендовав нам нового одноклассника, она исчезла.

Новенький не сел на единственное свободное место рядом со мной, а остался стоять возле доски. Молчал он, молчали мы. За дверью плескалась перемена.

— Ну привет, — с вызовом сказал Митяев, главный хулиган и сердцеед всея школы.

— Привет, — спокойно ответил Новенький.

Его изжелта-бледное лицо ничего не выражало.

— Садись, что ли, — крикнул кто-то, — другого места все равно нет.

Смешок прокатился по классу. Новенький посмотрел на меня и спокойно сел рядом. Он отличался вызывающей некрасотой: с пергаментного лица смотрели по-гумбертовски маслянистые глаза, старушечьи губы поджимались, стоило ему задуматься.

— Ты что же, изгой? — спросил он тихо.

Я промолчала.

Из всех человеческих возрастов наиболее эгоистичны юность и старость. Юность спешит почувствовать, попробовать, узнать; старость заботится о себе, бережет растраченное, ловит упущенное.

Я приходила из школы, машинально глотала суп и компот, садилась за уроки. Что я любила, так это учиться, хотя сейчас я думаю, что в действительности мне нравилось чувство превосходства над *ними*. Вечером я брала книгу и забивалась с ней в угол дивана. Приходила с работы мама, я нехотя выползала в коридор, улыбалась, что-то спрашивала и отвечала. Бабушка возвращалась домой позже всех, бессильно опускалась в коридоре на скамеечку и стаскивала с опухших ног сапоги.

Я должна была заметить, что с мамой что-то не так.

— Привет, — Новенький опустился на скамейку рядом со мной. — Ты обедала?

— Не успела, — призналась я. — Физичка отпустила нас на пять минут позже, а тут такая очередь. Я не стала стоять. Ничего, не пропаду.

— Будешь коржик? — и он протянул мне песочную лепешку в целлофане.

Так подманивают на улице бездомную собачку. Она идет не потому, что ей хочется есть или согреться, она мечтает, чтобы с ней заговорили, и случайный прохожий оказался будущим хозяином. Я взяла коржик.

— Привет, мам, — я привычно улыбнулась гуттаперчевой улыбкой.

Мама стояла на коврикe возле двери. С мокрого зонтика капало на линолеум. Мамино лицо было бледнее обычного, губы шевелились, словно она читала молитву.

— Мам? — я испугалась не на шутку.

— Я видела, как ее убили, — прошелестела мама.

— Кого?!

— Лену Никишину, мою бывшую одноклассницу.

— Где? Когда?!

— Только что, возле соседнего дома. Она шла по тропинке, знаешь, где фонарь никогда не горит, а он вдруг как выпрыгнет из темноты и ударит ее ножом! Столько крови!

— Ты вызвала «скорую»? Полицию?

— Нет, ты что! Они и так меня видели! Боже мой, что теперь будет! — и мама сползла по стене.

— Мама, прекрати! Откуда им знать, кто ты такая? Они же не пытались тебя убить, не гнались за тобой? Я позвоню по ноль-два...

— Не смей! — мама выхватила у меня трубку. — Только бы они не схватили бабушку...

Я должна была понять, подсказать, заметить, поговорить с бабушкой, наконец. Но я объяснила все мамиными расстроенными нервами. Через полчаса мама пришла в себя и взяла с меня торжественную клятву ни о чем не рассказывать бабушке. И я не рассказала...

Засыпая, я думала о Новеньком, а не о маме.

— Тебе куда? — спросил Новенький, когда я собрала учебники. — Давай провожу.

Я не умела кокетливо улыбаться, поэтому просто растянула губы. Это оказалось на удивление легко, куда легче, чем через силу скалить зубы дома.

— Пойдем.

Когда мы разошлись, уже давно стемнело. Я лениво подумала, что мама, должно быть, станет волноваться, если меня не окажется дома, но эту мысль тотчас оттеснили другие. На *меня* обратили внимание. *Меня* провожают домой. Я, возможно, кому-то понравилась.

Я открыла дверь и шагнула в темную прихожую. Выдохнула: видимо, ни мамы, ни бабушки еще нет дома. Я протянула руку к выключателю. Вспыхнул свет. Мама сидела на полу, глядя прямо перед собой.

— Мама?!

— Они следят за мной, — просипела мама. — Выследили-таки. Теперь все...

— Кто они, мама? — от ужаса я сорвалась на визг.

— Те, кто убили Никишину. Только не говори бабушке. Ради всего святого. Не стоит ее пугать.

— Ты была зимой в Ораниенбауме? — спросил Новенький, когда учительница биологии отвернулась к доске, чтобы начертить очередную таблицу.

— Нет, — я затаила дыхание.

— А хочешь?

«Никогда не соглашайся с первого раза. Парни этого не любят, их надо немного помучить», — вспомнила я житейскую мудрость, подслушанную в женском туалете. Вспомнила и ответила:

— Конечно!

Разумеется, ни маме, ни бабушке я про Ораниенбаум не сказала. «Завтра шесть уроков и классный час», — соврала, не моргнув. Всех это устроило.

В девять утра мы уже мчались в замерзшей электричке, а в одиннадцать — кидались снежками на пустых аллеях. Синицы клевали хлебные крошки с моей vareжки. Высоко в небе висело ртутное зимнее солнце. Я чувствовала себя счастливой.

Я открыла дверь и сразу поняла: что-то не так. В квартире было холодно, пахло табаком и лекарствами. Я разулась и прошла на кухню. Бабушка, в вишневом пальто и кокетливой круглой шляпке, стояла у открытого окна и курила. Такого с ней давно не случалось. Меня обдало паникой: видимо, бабушке уже сообщили...

— Я звонила в школу, тебя не было, — чересчур спокойно, даже лениво протянула бабушка.

— Я... мы... — залепетала я.

— Хорошо, что с тобой все в порядке. Маму забрали в больницу, нужно будет завтра отвезти ей вещи.

— Что случилось?

Я вообразила, что мама узнала о моем прогуле и решила, что меня убили. Потом ей стало плохо с сердцем, и ее увезла «скорая». Или история с Никишиной была правдой, и на маму совершено покушение?

— Мама... маме... — бабушка запнулась.

Она обернулась ко мне, и я заметила, как страшно, иссиня-фарфорово она бледна. Тени со всего лица собрались к глазам.

— У мамы проблемы... Мама... Кажется, она... Мама сошла с ума.

Бабушка поднесла к губам пальцы, как будто хотела их поцеловать. Рукав пальто был испачкан побелкой, и я отряхнула его. Бабушка поблагодарила.

— Я не знаю, что делать.

Это сказала бабушка? Я не ослышалась?

— Врачи ничего не говорят.

Она стащила с головы шляпку и бросила ее на стол.

Словно и не больница вовсе: красивые современные корпуса — ажур, дерево и снег, мягко укрывающий двускатные крыши. Бабушка шагала впереди. Впервые я видела ее такой: седые волосы выбились из-под шляпки, пальто расстегнуто.

Мы заплутали в больничном лабиринте. Скорбная фигура — сухие воспаленные глаза, взъерошенные волосы и термос в бумажном пакете — подсказала дорогу.

Кирпичный флигель зарылся в снег подальше от людских глаз. Над окнами нависали огромные сосульки, блестящие, как бабушкин хрусталь. Внутри, в царстве казенной синей краски и дореволюционной метлахской плитки, пахло типичным пищеблоком — капустой и спитым чаем. У входа стояли длинные сани с бидонами, на которых краской были намалеваны непонятные буквы и цифры.

Меня затрясло. Синева заплясала перед глазами.

Бабушка постучала в дверь. Открыли. Запах капусты усилился. Полная женщина в застиранном белом халате перебросилась с бабушкой парой слов и впустила нас внутрь. Я сразу, будто теплой водой окатили, вспотела. Бабушка разделась, стащила с меня куртку, сунула в руки тапочки. Из соседнего помещения выглянула женщина в розовом халате — красивая, с тонким профилем и густыми светлыми волосами. Пожевав губами, она посмотрела на бабушку, потом на меня и грустно улыбнулась.

Я ожидала всего чего угодно: клеток, мягких стен, звероподобных буйных больных, — но вместо этого мы прошли в обычную комнату с бежевыми стенами. На потрепанном диване сидели мужчина и женщина. Он держал ее за руку и, улыбаясь, рассказывал что-то, она кивала головой. Девушка чуть постарше меня, не стесняясь посторонних, примеряла на голое тело кофточку, которую принесли родители. Они шутили почти непринужденно и весело — не хватало самой малости.

Я едва узнала маму в казенной куртке с эмблемой больницы на спине и леопардовом халате с чужого плеча. Она вымученно улыбнулась и села рядом с бабушкой.

Страшно боясь заплакать, я отодвинулась от них, но вместо слез изнутри рвалась дрожь. Бабушка вполне владела собой: улыбнулась, заправила выбившуюся прядь за ухо и спросила у мамы:

— Кушать хочешь? Я принесла фрукты и пирожки.

Мама посмотрела на нас, и две слезы страшно медленно выкатились из глаз.

— Не нужно плакать, — бабушка говорила с уверенностью диктора. — Тебя немного подлечат, и все будет хорошо. Ты просто устала. Кушай.

Мама послушно взяла пирожок и принялась вяло жевать.

— К доктору схожу, — бабушка оставила нас вдвоем.

Мы сидели молча. Я растерялась, маме было неудобно — она теребила распутившуюся манжету халата. Вскоре бабушка вернулась:

— Доктор сказал, это все ерунда. И недели не пройдет, как тебя выпишут. Такое бывает у женщин твоего возраста...

Мама быстро утомилась и вернулась в палату. Мы молча оделись у дверей. Бабушка повязала на тонкой шее элегантный шарфик, поправила мне воротник. Медсестра движением фокусника достала из кармана халата дверную ручку и открыла нам.

Мы пробирались по сугробам к воротам больницы. Я обогнала бабушку и заглянула ей в лицо. По впалым морщинистым щекам текли слезы. На полпути они испарялись и поднимались к небу, как молитва.

Наступило странное безвременье: я вставала по утрам, шла в школу, сидела на уроках. Я отвечала, когда меня спрашивали, и отвечала хорошо, но все вокруг заметили произошедшие со мной перемены. Одноклассники оставили меня в покое, иногда я даже ловила на себе чей-то сочувственный взгляд. Они думали, что я влюбилась, и это было неправдой лишь отчасти.

Горе, придавившее меня в день, когда я узнала о мамином сумасшествии, не смогло вытеснить странного чувства болезненной привязанности, которое я испытывала к Новенькому. Он заговаривал с кем-то помимо меня — я злилась, улыбался и шутил — выходила из себя. Однажды я надерзила учительнице физики, которую, в общем, любила, только за то, что она снизила ему оценку.

Сдавленная этими двумя жерновами, я забывала поесть, а вместо сна лежала с открытыми глазами, задавая пустоте один и тот же вопрос: если это темное, злое, отдающее болотиной, называлось любовью, то она пугала меня.

Новенький же, словно почуяв, что я увязла и запаниковала, перестал обращать на меня внимание. Я ревновала и ненавидела себя, потому что мне *нужно* было думать о страшной больнице, о запахе капусты, о дверях без ручек. Но я не хотела думать.

Я не поехала к маме один раз, сказавшись больной, в другой раз мне якобы нужно было готовиться к контрольной, а на третий бабушка даже не предложила. Чтобы заглушить чувство вины, я позвонила Новенькому, но его не оказалось дома.

Заплаканная бабушка приехала позже обычного. Маму собирались выписывать, но у нее снова случился приступ. Мы сидели на кухне по разные стороны стола и цедили горький чай.

На следующий день я проспала в школу: бабушка уехала на работу рано, и я, нажав на кнопку отбоя, уснула. Прибежала ко второму уроку в мятой блузке и без жакета. Раньше все бытовые мелочи контролировала бабушка, то есть они решались сами собой, а теперь заниматься всем этим приходилось мне. И я, конечно, не успевала.

Англичанка, хмуро оглядев меня, разрешила войти. Я сделала задание, но когда меня вызвали, сбилась и получила тройку, правда, «карандашную».

— Что с тобой происходит? — спросил меня Новенький, когда на перемене мы уселись в дальнем углу столовой.

Хотела соврать, придумать правдоподобное объяснение своим опозданиям и рассеянности, но вместо этого зачем-то рассказала ему все: и про маму, и про больницу, и про себя. Умолчала только о болотине.

К марту маме стало лучше. Она сильно располнела от таблеток, но страхи и навязчивые идеи исчезли. Мама улыбалась, с аппетитом ела пирожки и с иронией рассказывала о больничном житье-бытье.

Стоило одному жернову ослабить давление, как меня прижало другим: Новенький неожиданно совершенно переменял отношение ко мне. Он постоянно раздражался, срывал на мне злобу, а однажды после совершенно пустякового конфликта пересел к Лизе Кулинич — ее соседка Оля Нерсесян сломала ногу и временно училась дома. Я снова осталась одна.

Правда, через неделю Новенький пришел мириться с улыбкой и конфетами из ближайшего супермаркета. Новогодняя коробка была наспех заклеена отпечатанной на цветном принтере картинкой с букетом тюльпанов. Мне хотелось думать, что переми-

рие не связано с контрольной по английскому, но все было слишком очевидно. Я оттолкнула коробку, и она, скользя по крышке парты, упала прямо ему в руки. После урока Новенький угощал конфетами Кулинич.

Это случилось в среду на биологии. Учительница рассказывала про наследственность, и речь зашла о заболеваниях, которые передаются детям от родителей. Класс, страдая от духоты, слушал вполуха, пуская зайчиков часами и зеркалами. Открыли форточку. Школьный двор, как рупор, усиливал журчание талой воды, ухидившей в канализационный люк.

— Мария Евгеньевна, — вдруг приподнялся Новенький, и Кулинич как-то неприятно подхихикнула, — а правда, что сумасшествие передается по наследству?

Мне стало неудобно.

— Да, есть психические расстройства, которые могут передаваться из поколения в поколение, — начала биологичка, но он не дал ей закончить.

— Все тогда понятно с нашей Птичницей-отличницей, это она в свою мамочку чокнутая.

Класс замер. Солнечные зайчики запрыгали со стен под парты. Я вскочила.

— Что? — переспросила биологичка.

Это в книгах легко — ударишь по лицу, и оно забьется в ладони, как птица. В реальности все по-другому. В абсолютной тишине я вышла из класса; никто не попытался меня остановить.

Предательница! Я предала маму, рассказав о ее беде первой попавшейся скотине.

Я, без куртки и в замшевых туфлях, шагала через детскую площадку, залитую талой водой. «Цой жив!» — крикнул мне в лицо ржавый гараж. Я обогнула его и юркнула через дыру во двор детского сада.

Я не чувствовала холода и воды в туфлях — вообще ничего, кроме огромного, ширящегося внутри кома отчаяния. Я забралась в деревянный домик на детской площадке. «Господи, за что?» Холодное небо, видневшееся через выломанную доску крыши, промолчало.

Бабушки не было дома. Согреваясь под душем, я думала о том, что скажу ей по поводу куртки и рюкзака. Часов в пять в дверь позвонили, и я поплелась открывать. За дверью оказался мой рюкзак, рядом — куртка и пакет с ботинками. Мне было все равно, кто принес эти вещи.

Я прошла в комнату, легла на кровать и выключила свет.

Ни в четверг, ни в пятницу в школе я не была. Вставала рано, собиралась под гнетом тяжелого бабушкиного взгляда, выходила на улицу и шла наугад. Типовые дома подслеповато глядели мне вслед.

Наверное, думала я, останься мы на Острове, все сложилось бы иначе. И мама была бы здорова, и я не совершила бы этот непростительно мерзкий поступок.

В субботу созрело решение. Я вышла из дома, коснувшись сухими губами бабушкиного виска. Седые пряди пахли духами «Пани Валевска».

Панельные дома пропустили меня сквозь строй, но я осталась жива.

Спускаясь в метро, я думала о том, что наклонный ход похож изнутри на пищеводные кольца — такой рисунок был в учебнике по анатомии.

Я ехала домой.

Васильевский встретил меня запахом талой воды. Я и забыла, каким Остров бывает по весне. Лиственницы осыпались не полностью, и хвоя висела на бородавчатых ветвях неопрятными колтунами.



Я легко нашла двор, в котором не бывала десять лет. Остался бетонный круг — не то песочница, не то клумба — и желтые стены в потеках и проплешинах, даже треснутое стекло на третьем этаже не заменили. Удивительно, сколько всего я помнила.

Не зная, жив папа или нет, я уселась на скамейку — ждать. Он мог переехать, попасть в тюрьму, измениться до неузнаваемости... Но я почему-то была уверена, что встречу его — и встретила.

Сначала из парадной выскочила крошечная девчушка, вся в розовом, и запрыгала к детской площадке, как резиновый мячик. Потом вышел папа. Вместо линялой куртки со шнурком на талии, в моем детстве все папы такие носили, стильная кожанка. Седины прибавилось, и волосы были подстрижены по-другому.

— Алина, аккуратно! — крикнул он девочке, и я вздрогнула. — Добрый день, — поздоровался со мной и сел на скамейку.

Он не узнал меня. Разумеется, не узнал. Я нашла в себе силы пожелать ему доброго дня в ответ.

Девочка полезла на лесенку, и он вскочил, чтобы подстраховать ее. Я сидела ни жива ни мертва, чувствуя, как пот стекает по спине. Что я могу сказать ему: «Привет, папа, я — твоя дочь?»

Алина мирно черпала ведерком воду из лужи, и он снова сел рядом со мной. Расстегнул куртку — оказался пушистый белый свитер, совсем не такой, как тот, на который мама когда-то пришивала кожаные заплатки.

— Глаз да глаз за ней, — и он посмотрел на свою Алину с обожанием.

Так мы сидели несколько минут в тишине. Наверное, я казалась ему подозрительной: торчу одна на скамейке без наушников, телефона или книги, смотрю на него и на маленькую девочку...

Алина отбросила ведро и побежала к папе, но запнулась за бетонный бордюр и упала. Она расплакалась, некрасиво кривя розовый ротик, и папа метнулся на помощь.

Он поднял ее, отряхнул комбинезончик и, встав на одно колено — прямо в лужу! — посадил на другое Алину.

— Ну-ну, — нараспев зашептал он, — не плачь, Алиненок, не плачь. В жизни всякое случается...

Я судорожно вздохнула — кажется, даже папа услышал, поднял голову и вспомнил, что на площадке они не одни.

— Это не беда, все пройдет. Подую — и пройдет, правда? Это, доченька, такая ерунда по сравнению с мировой революцией... у нашего дедушки такая поговорка была. Царь Соломон — жил такой в древности — говорил, что все пройдет...

Я сорвалась с места, не дослушав. Мутные василеостровские окна тарасились на меня, талая вода и ошметки снега разлетались из-под каблуков. Я не плакала — выла. Люди оглядывались мне вслед — вот она, чокнутая, дочь чокнутой.

Я перебежала проезжую часть в потоке машин, и они подняли пронзительный вой. «Вот дура, жить надоело», — припечатал какой-то мужик, и я рассмеялась ему в лицо — чокнутая же.

«Все пройдет, доченька...» Выскочила на набережную — как из воды вынырнула. Нева уже вскрылась, и по ее шелковой черноте в Балтику лениво тянулись грязные льдины. Ветер дергал меня за волосы и толкал в спину.

«Все пройдет, папа». Это мог быть и не он — ведь я не видела его столько лет... «У царя Соломона, — повторяла я самой себе, — было кольцо с надписью „Все пройдет“. Интересно, он думал о том, что все пройдет, когда на улицах Грозного пылали „коробочки“?»

Я всегда оправдывала его, ведь это мама запрещала ему приезжать и видаться со мной, но это я так считала, а он мог думать по-другому, мог просто забыть обо мне... Почему у него нашлись слова утешения для Алиненка, а для меня — нет?

Морские коньки на решетке разевали рты в безмолвном крике. У меня закончилось дыхание, и я остановилась, вцепившись в перила, посреди Благовещенского моста (бабушка по привычке называла его мостом Лейтенанта Шмидта). Краны в порту молитвенно воздевали суставчатые руки. Ростральные колонны поддерживали грузную серость, в которой плыл глобус Кунсткамеры.

...В конце концов, даже если у меня отнимут все, чем я дорожу, останется этот Остров и набрякшее от оттепели небо над ним.

### ЧЕЛОВЕК С ЗОНТОМ

Когда родной папа выбросился из окна, Ники еще не было на свете. Точнее, она существовала, но как часть матери, плод в ее животе. Истинных мотивов папиного поступка не знал никто, но мама утверждала, что во всем виновата расстроенная психика. У Ники на этот счет другое мнение. Окажись она на месте папы — сотворила бы с собой нечто подобное. Из-за мамы, конечно.

Самый невинный из маминых недостатков — инфантилизм. Сейчас, когда Нике двадцать, а маме сорок пять, окружающим кажется, что все обстоит ровно наоборот: мама ведет себя как подросток: не умеет готовить, рационально распределять деньги и никогда не ложится вовремя. Она забывает выключить воду в ванной, и Нике приходится пропускать первую пару и мчаться через весь город, чтобы перекрыть кран. Мама ходит в туристические походы, на рок-концерты и в клубы. Она носит короткие юбки и красит ногти в зеленый цвет, а по праздникам забирается на табуретку и изображает танец живота. Любому незнакомому человеку показалось бы, что Никина мама либо всегда навеселе, либо у нее едет крыша. Последнее больше походит на правду, но Ника знает: это мамино обычное состояние. Скажите спасибо, что она не играет в прятки или салочки с детьми во дворе.

Страшнее то, что у мамы ужасный характер. Бабушка, например, вспыльчива, но отходчива, а мама закатывает скандалы на целую ночь и еще неделю дуется. Нет, с мамой положительно нет сладу.

Четыре года назад мама отмочила номер серьезнее, чем незакрытый кран или пляски на шаткой табуретке: нашла себе мужчину. На Никином веку это уже третий, если считать покойного папу и не считать всех тех типов, которые оставались ночевать в маминой спальне перед тем, как пришел Костя. Костя — это тот самый, который появился четыре года назад. Симпатичный, веселый, и характер у него в самый раз, чтобы гасить мамины «скандало грандиозо». Один недостаток — ему сейчас двадцать четыре, а тогда было всего двадцать. Впрочем, когда мама в первый раз запустила ему в голову тарелкой, он напрочь забыл об уважении к старшим и в долгу не остался — в стену над маминой огненно-рыжей головой живописно впечатался кофейник с остатками кофе. Тот кофейник Ника Косте так и не простила — все потому, что подарил его Никин папа. И совсем не тот, который выбросился из окна, а тот, который папойто, строго говоря, и не был.

Звали этого человека Никита Ростиславович Оболенский. Мама со смеху покатывалась, когда слышала его полное имя, но он ей все всегда прощал, потому что, как и Ника, знал: маме можно. Она как ребенок. Обижаться на нее все равно что обижаться на снегопад или солнечные лучи.

Ника над Никитой Ростиславовичем не смеялась. Во-первых, потому что он носил усы подковкой, и от этого казалось, что он вот-вот заплачет. Нике его всегда бывало жалко. Во-вторых, Никита Ростиславович почти сразу попросил, чтобы она называла его папой. Удивленная Ника согласилась, а мама, когда услышала эту новость, зашлась хохотом и выронила стакан. В-третьих, именно он, папа Никита, научил ее мудрости. Той самой, благодаря которой она так и не повторила поступок своего родного отца, хотя иногда, скажу по секрету, очень хотелось.

Мудрость у Оболенского была особенная, стоическая. На мир он смотрел, как на мозаику из горестей и несправедливостей, умудряясь при этом изредка улыбаться. Тот факт, что под усами-подковкой прячется улыбка, открыла Ника. Это случилось однажды в зоопарке, когда они увидели, как обезьяны передразнивают столпившихся у клетки посетителей. Ника тарасилась на них во все глаза еще и потому, что первый раз оказалась в зоопарке (мама считала недостойным тратить время на такую ерунду), и вдруг краем зрения увидела, как изменилось лицо отца. Она обернулась и успела уловить гаснущую улыбку.

Что маму привлекло в печальном философе? И, еще загадочнее, что привлекло его в ней? Ника маму любила, но положила руку на сердце, считала пустышкой. И до сих пор считает, хотя Никита Ростиславович имел свое мнение на этот счет. Когда он слышал от Ники жалобы на мать, то всегда отвечал одно и то же: «Ты старше, и не нужно осуждать ее ребячество». Ника тогда не понимала: почему старше? Ей десять, а маме тридцать пять. Но Оболенский и это мог растолковать: «Возраст тела и возраст души — разные вещи. Ваша, да и наша с мамой беда в том, что наши души старше, понимаешь? Я старик, а она девочка». Ника все равно путалась: «Как так старик? Папа, тебе же всего сорок!» Но Никита Ростиславович все твердил свое: старик, старик, старик.

Он был особенным, и Ника всегда это знала. Он казался ей очень красивым: рослый, волосы с проседью, в черном пальто с клетчатой подкладкой, в широкополой шляпе и с зонтиком-тростью. Мама считала по-другому. Она называла его «дворянин сушеный» и визгливо смеялась. От ее неестественного злого смеха звенел хрусталь в буфете, а Нике становилось не по себе. Оболенского, казалось, не интересовало что о нем думает Никина мама. Воскресным утром, появляясь на пороге с букетом маминых любимых чайных роз, он неловко стаскивал остроносые ботинки, проходил в спальню, церемонно наклонялся к маме, целовал в висок и протягивал букет. Мама непременно хохотала, скалясь, как булгаковская Маргарита, хотя Ника считала, что в этом нет ничего смешного.

Мама указала Оболенскому на дверь, когда Нике исполнилось двенадцать. Перед этим она целую ночь кричала. Ника переворачивалась с боку на бок, накрывала голову подушкой, несколько раз громко хлопала дверью, но маму было не остановить — она обрушила на голову мужа поток отборной брани. Он испортил ей жизнь. Он забрал ее лучшие годы. Он ничего не дал ей взамен...

Она кричала, что больше не может терпеть его кислую физиономию за завтраком, потому что у нее изжога. Никита Ростиславович обреченно молчал. Ника, безмолвная свидетельница этой ссоры, едва сдерживала слезы. Она знала: все кончено. Папа терпел мамины выходки девять лет. Девять лет у нее был отец, а теперь не будет.

Никита Ростиславович ушел под утро. Он забрал свои книги, но одну, «Алые паруса» Грина, забыл. Ника догадывалась, что он оставил ее нарочно, чтобы подарить ей еще немного чуда. Увидев потрепанный томик на подоконнике, Ника схватила его и спрятала среди учебников. Она так и не смогла начать читать. Стоило ей открыть первую страницу и увидеть сделанные рукой Никиты Ростиславовича пометки, как глаза застлала слезы.

Она знала: он не вернется. Он гордый человек. Вся беда его была в том, что он любил Никину маму. Это и ее, Никина, беда.

Папа не звонил и не искал встреч с Никой. Тяжело было думать, что он любил в ней всего лишь часть мамы. Если бы только у нее остался его телефон... о, если бы только раздобыть его телефон!

Однажды ночью Ника тайком прокралась в мамину спальню, утащила сумку и нашла записную книжку. Отыскать в маминой книжке номер считалось большой удачей — она записывала все подряд, не соблюдая разделов по буквам алфавита. Ника потратила на поиск полночи, рискуя стать причиной очередного скандала, застукай ее мама за этим занятием. Ей повезло: она нашла номер Оболенского.

На следующий день, вернувшись из школы, Ника торопливо набрала номер. Она знала: в среду Никита Ростиславович непременно будет дома — и он оказался дома! Когда Ника услышала его голос, она от волнения не смогла произнести ни слова. Никита Ростиславович несколько раз повторил: «Алло-алло, вас не слышно» — и повесил трубку. Ника разрыдалась так, что у нее поднялась температура. Больше она звонить не осмелилась, ждала, что он позвонит сам. Услышав трель телефона, она мчалась со всех ног по коридору, не разбирая дороги и ударяясь об углы. Мама смеялась и называла ее Бегемотиком.

Шли дни. Недели. Месяцы. Они сложились в целых четыре года, когда в доме появился Костя. Костя хороший. Он все понимает: готовит ужин, если Нике нездоровится, потому что мама и плита — понятия несовместимые, уговорил маму купить Нике собаку... но он никак не может быть папой, хотя бы потому, что старше ее всего на четыре года.

Возвращаясь из института, Ника попала под дождь. С каждым часом день становился все более отвратительным: она забыла ключи, не смогла сдать контрольное чтение по французскому, а теперь еще и промокла до нитки. Смеркалось. В туфлях хлюпало, к подошвам липли мокрые листья. Пытаясь успеть на автобус, она поскользнулась на тротуаре и разбила колено.

Неожиданно впереди мелькнула высокая фигура в плаще и широкополой шляпе. Сердце забилось быстрее. Переходя дорогу, мужчина отвел руку в сторону, и она увидела большой черный зонт-трость на его локте. Это мог быть только он, папа. Ника немного замедлила шаг, думая о том, что скажет ему. Без подготовки фразы у нее выходили скомканными и глупыми.

«Папа! Я очень давно хотела поговорить с тобой. Ты не представляешь, как мне тебя не хватало!

Мы живем все так же, только у мамы новый мужчина. Он добрый, но я так и не смогла полюбить его, как тебя. Он никогда не защищает меня, когда мама кричит. Ты же знаешь, как она умеет кричать. Особенно без повода, просто потому, что ей нужно на кого-то выплеснуть обиду. Я всегда молчу, вспоминаю, как молчал ты, и тоже молчу. Хотя иногда это очень трудно.

Еще, папа, я очень любила одного человека. Ты его не знаешь, у него кличка Винтик. Он очень добрый, папа. Я ждала его два года из армии, писала письма. Я похудела к его возвращению, сшила себе полосатое платье. Сама сшила, представляешь? Мама смеялась над платьем, но, по-моему, вышло даже неплохо. Винтик вернулся полтора года назад. Я была так счастлива. Мы ходили в кино, гуляли, даже целовались. Я была очень счастлива, папа. А потом он сказал, что я очень хороший друг, но больше у нас ничего не получится. Было очень больно. Но я знаю, что ты любил маму, а она тебя разлюбила. Она ведь хорошая, моя мама, и Винтик тоже хороший. Только он меня разлюбил...

Двоюродная сестра Лизка, ну ты помнишь? Она тогда была еще совсем девчонка, а сейчас ей двадцать пять. Она любит своего мужа, а он ее — нет. Изменяет ей. Иногда бьет. Однажды ударил лицом об угол кровати, у нее был такой страшный черный синяк, что я упала в обморок. Она убегает от него, мы ее прячем на даче, покупаем ей сим-карту, чтобы он ее не вычислил. А она сама ему начинает звонить через пару дней, он приезжает и забирает ее. И все начинается снова. Я кричу, топаю ногами, и мама тоже кричит. Она это умеет, ты знаешь...

У дедушки нашли какую-то неизлечимую болезнь. Он должен был умереть два года назад, если бы бросил пить. А он не бросил и жив до сих пор. Бабушка, конечно, измучилась с ним. А еще бабушка переживает из-за мамы. Ей не нравится, что Костя такой молодой. Ой, вот я и проговорила. Костя — это мамин новый мужчина. Ему двадцать четыре, представляешь? Я тоже думаю, что мама сошла с ума. Что? Ты думаешь, это ее очередное ребячество? Может быть.

Что еще рассказать тебе, папа? Ах да, я окончила школу и поступила в институт. Я буду переводчиком, если получу диплом, а я обязательно получу. Я же помню, как ты рассказывал, что хотел учиться на историческом факультете, а родители запихнули тебя в политехнический институт. Но ты ведь доучился, значит, и я доучусь, правда? Я же твоя дочка.

Представляешь, в воскресенье мы должны были всей семьей ехать в театр: я, мама, Костя и сестра с мужем. Ты ведь знаешь, как меня укачивает. Я спросила маму, можно ли мне поехать на метро. Мама заупрямилась, и мне пришлось сесть в машину. Разумеется, меня стошнило. Я испачкала шарф и мамину сумку. Мама очень ругалась, хотя я не виновата...

Она все такая же, мама. Папа, я знаю, что ты не можешь ее видеть. Ты же ее до сих пор любишь. Но ведь меня ты тоже любишь, правда? Хотя бы чуть-чуть?»

Впереди показалась станция метро «Василеостровская», и Ника ускорила шаг. Папа шел впереди, покачивая зонтом в такт шагам. Теперь Ника знала, что скажет ему. Ноги у нее все равно промокли, поэтому она пробежала через лужу и догнала его. Пошла рядом. Нике не хотелось его окликать. Хотелось, чтобы он сам увидел ее и остановился. Но он не остановился. Ника стала отставать — у нее с детства было слабое сердце, и при быстрой ходьбе она задыхалась. На глазах выступили слезы.

Почувствовав, что сейчас папа уйдет, Ника крикнула из последних сил:

— Папа!

Мужчина обернулся. Это был совсем другой человек.

Стена дождя рухнула, погребая под собой его и Нику.

## ТРАМВАЙНЫЙ РОМАНС

В трамваях есть особая звонкая романтика — Настя всегда так думала. На далекой Камчатке не водилось ничего, кроме скрипучих «микриков» — крошечных автобусов, пропахших старостью и бензином, поэтому трамвай она увидела на картинке в детской книжке.

На конкурсе чтцов в школе она декламировала «Заблудившийся трамвай» Гумилева — и заняла первое место.

В шестнадцать, посмотрев фильм «Брат», Настя окончательно и бесповоротно заболела трамваями. Почему-то она была уверена, что в звенящей железной машине с ней непременно произойдет что-нибудь хорошее. Даже в переливах последнего школь-

ного звонка ей слышался деликатный перезвон питерского трамвая... Его-то она и ждала.

Самолет застыл над облаками, как приклеенный. Настя знала, что он движется, но уловить это движение никак не получалось. Мама сидела рядом бледная, вцепившись в подлокотники кресла: когда-то давно она пережила вынужденную посадку на остров Беринга и с тех пор страшно боялась летать. Насте, наоборот, стало беспричинно весело. В иллюминаторе самолета плыли сахарные глыбы, небо меняло цвет, звезды подмигивали, суля удачу. Задремав, она увидела себя в трамвае. Он приветливо звенел и катился по сияющим рельсам к голубому Финскому заливу, дышащему счастьем и свободой.

На самом деле залив оказался не голубым, а серым. Даже родной Настин океан выглядел приветливее.

Трамваи тяжело двигались, поводя облупленными пыльными боками, и внутри выглядели немногим лучше «микриков». Во время первой же поездки внутри звенящего монстра вместо радостного приключения случилась неприятность: у нее стащили кошелек. Выйдя на первой попавшейся остановке, Настя разрыдалась от разочарования.

Она привыкла к простору, высокому небу и зубчатым сопкам на горизонте. В этом унылом городе вокруг нее толкались пыльные дома с потухшими окнами и шрамами трещин на равнодушных фасадах. В лязге трамваев слышалось обидное: «Нас-тя ду-ра, Нас-тя ду-ра...»

С приходом сентября стало только хуже. Казалось, город спутал ее сонным параличом, загнал под душевное одеяло, которое только давило вместо того, чтобы согреть.

Дождь никак не заканчивался, его скучные капли стучали в стекла, крыши и тротуары. Она привыкла к честным камчатским ветрам — они били в лицо, как в честной кулачной драке, и могли свалить с ног, а питерские нагло лезли под одежду и выматывали душу.

Мама сняла Насте комнату в коммуналке. Оказалось, что в длинном прокуренном коридоре и грязной душевой, отгороженной липкой шторкой от общей кухни, нет ни капли романтики. Пьяница с лошадиным лицом и гнилыми зубами вечно торчал на кухне и норовил сунуть распухший нос в душевую, когда она мылась. Краснолицая крепкая бабенка, мать двоих сыновей, кричала на нее по любому поводу. Худой лохматый старик с красными глазами каждое утро затевал неаппетитное варево, и от запаха ее едва не выворачивало.

Холодной осенней ночью, когда Настя тихо плакала в коконе из сырого одеяла, глядя, как за мокрым стеклом, перечеркнутым трещиной, скользят огни фар, выжившая из ума старуха едва не спалила всю квартиру. Сняв с конфорки чайник, она понесла его в комнату, не заметив, что край полотенца тлеет. К счастью, струйку синеватого дыма заметил пьяница и отчаянным воплем поднял на ноги весь дом. Это стало последней каплей. Настя решила возвращаться. Город не принял ее. Трамваи оказались иллюзией.

После случая с кошельком Настя приучилась ходить пешком: всего-то двадцать минут от факультета до комнаты (язык не поворачивался назвать ее домом). Но в тот день, обессиленная бессонной ночью и слезами, она взглянула на низкое клочковатое небо, исходящее серым дождем, пересчитала мелочь в кармане и поплелась к остановке. Она смотрела под ноги, на влажный асфальт, где, казалось, плыло отражение какой-то другой девочки с античной маской трагедии вместо лица.

Она заметила трамвай — он мчался, звеня и разбрызгивая искры. Статьи закона трамвайной подлости гласили: когда тебе нужно успеть на трамвай, он летит гоголевской птицей-тройкой, но если тебе посчастливилось попасть внутрь, становится старой железной черепахой, которая движется медленнее пешеходов. «Не успею», — обреченно подумала Настя, но все же побежала. Асфальт цеплялся за подошвы и тащил назад, зонтик путался в дожде и ветре. Настя выставила его перед собой, как щит, разумеется, перестала видеть то, что происходит впереди, и в следующую секунду столкнулась с кем-то и повалилась навзничь на мокрый тротуар. Суровое небо укоризненно глянуло на нее и плюнуло дождем.

— Ушиблись?

Человек, в которого она врезалась, удержался на ногах и вместо того, чтобы обрушить на мокрую Настину голову проклятия, наклонился и заглянул в лицо. Он был ее ровесником или немного старше, мокрые темные волосы падали на лоб, глаза за стеклами очков смотрели сочувственно.

— Простите, — прошептала Настя.

Как же больно, обидно, но больше всего — стыдно!

— Давайте руку.

Она неловко поднялась, стараясь не смотреть на протянутую ладонь и подтянула к себе испачканную сумку. Ныли локти и спина; зонтик смялся, и сломанные спицы торчали наружу — открытый перелом. Мелочь из кулака рассыпалась по тротуару.

— Я вам помогу, — он наклонился и стал неловко отлеплять от асфальта монеты.

— Да не нужно! — истерически крикнула Настя.

Стыд обжигал ее.

— Я хотел помочь...

Настя увидела еще один трамвай — его красная туповатая морда мелькала в хаосе дождя и ветра. Подхватив сломанный зонтик и сумку, она помчалась к остановке.

На этот раз успела. Зашипели, смыкаясь, двери-гармошки, вагон дернулся и поплыл, медленно набирая ход. Парень стоял у кромки тротуара и смотрел вслед уходящему трамваю.

Настя мечтала прошмыгнуть к себе в комнату и наплакаться вдоволь, но возле дверей столкнулась с краснолицей бабенкой. Привычно покрикивая, та собирала на прогулку сыновей. Младший торопливо и неумело шнуровал ботинки, старший топтался в углу и обиженно сопел.

— Извините, — Настя попыталась протиснуться мимо бабенки, но та ловко ухватила ее за грязный рукав.

— Что это с тобой? Как будто в кустах валялась.

— Пустите, — жалобно пискнула Настя и разрыдалась.

— Э-э-э, че случилось-то? — озабоченно переспросила бабенка и прикрикнула на своих сыновей: — А вы что уши развесили? Марш на площадку! Выйду сейчас.

— Я упа-а-а-ала.

— Всего-то? Господи Иисусе, я думала, тебя того... Болит что-нибудь?

— Локоть... И спина.

— Спина сильно болит? Плохо, что на спину шлепнулась.

— Еще и плащ весь грязный... Мне завтра идти не в чем...

— Какая, прости Господи, дура. Плащ ей жалко. Спина цела — и ладно. Ну-ка пошли, — и бабенка поволокла Настю на кухню. — Проваливай, — скомандовала она пьянице, который при виде заплаканной Насти неосторожно улыбнулся. — Нечего тут сидеть, своя комната есть. Ошиваешься целыми днями, спасу нет никакого. Плащ давай. Давай, говорю. Застираем.

— Так не высохнет... — всхлипнула Настя.

— Высушим. Плиту вон включим и высушим. И в кого ты такая неумеха, прости Господи!

К вечеру дождь закончился, ветер разметал облака, и в кухню заглянуло закатное солнце. Оно раскрасило оранжевым скромный плащик, раскинутый на стуле для просушки. Капли жира в рубиновом борще, который щедро налила Насте бабенка — ее, как оказалось, звали Танюхой, — обернулись золотинками. Настя уплетала суп за обе щеки и смотрела на мокрые крыши за окном.

На кухню заглянул старик с красными глазами, посмотрел на Настю и незаметно положил рядом с ее кружкой засохший кругляш овсяного печенья.

Наступило бабье лето. Солнце и крепкий ветер высушили город. Звонкий, вымытый сентябрьскими дождями до блеска, он предстал перед Настей совсем другим. С теплых василеостровских линий, усыпанных листьями, не хотелось уходить. Трамваи, похожие на камчатских оленей, деловито звенели, рассыпая зеленые звезды из-под рогов.

Настя остановилась у края тротуара, высматривая оленя, который привезет ее... домой. Теперь ее дом был здесь — в этом городе, на этом острове, в тесной комнатухе в конце длинного прокуренного коридора.

Трамвай остановился, словно испугавшись желтых зигзагов, начерченных на асфальте. Настя шагнула в его распаренное нутро, вызолоченное вечерним солнцем. Лучи били в лицо, и она почти на ощупь прошла в середину вагона и села. Ноги, наполненные пройденными километрами, приятно гудели.

— Здравствуйте, — произнес кто-то за ее спиной.

Она обернулась. Он поправил очки.

— Вы сильно ушиблись? А я, кстати, собрал тогда все ваши монеты. Я знал, что обязательно вас встречу — ведь все трамваи ходят по одним рельсам. Два билета, пожалуйста.